

Зловещий доброжелатель (Порфирий Петрович. Эротика проникновения)

LYUDMIL DIMITROV, *Sofia University St. Kliment Ohridski*
ljudiv@abv.bg

Received: July 23, 2017.

Accepted: October 5, 2017.

АННОТАЦИЯ

Статья пытается читать роман «Преступление и наказание» через Порфирия Петровича. Почему необходим следователь и почему он уникален для сюжета? Нигде в «Пятикнижии» не повторится подобная фигура. Без Порфирия мы бы объяснили себе Раскольникова скорее субъективно. Этим своим героем автор корректирует и объективирует свой рассказ. Своим деянием Раскольников рушит проект своей собственной жизни и переориентирует его непонятно в какую сторону. Своим появлением / вмешательством Порфирий пытается регулировать проект жизни Раскольникова как социального, заставить его воспринять моральные поведенческие рамки. Он – зловещий доброжелатель. Исследование касается также способности сыщика внушить Раскольникову определенные мысли не как злого гения, а через эротика проникновения и принципы того, что позже будет названо психодрамой.

Ключевые слова: Достоевский, «Преступление и наказание», Порфирий Петрович, детектив, нарратив.

The Sinister Benevolent (Porfiry Petrovich. Erotica of Insight)

ABSTRACT

The article attempts to read the novel “Crime and Punishment” through Porfiry Petrovich. Why is the investigator necessary and why – so unique to the plot? In all of Dostoevsky’s “Pentateuch” there’s no such figure. Without Porfiry, we could explain Raskolnikov only subjectively. Through this character the author corrects and objectifies his story.

With his act, Raskolnikov destroys the project of his own life and reorientates it rather unclearly. With his appearance / interference, Porfiry attempts to regulate the project of Raskolnikov’s life as a social one, he tries to impose a moral and behavioral framework on him. He is sinister and benevolent.

The paper also analyses the detective’s ability to induce certain thoughts in Raskolnikov’s mind – not as an evil genius, but rather through the eroticism of insight and the principles of what would later be called psychodrama.

Keywords: Dostoevsky, “Crime and Punishment”, Porfiry Petrovich, detective, narrative.

«Они умолкли и Пуаро задумался об убийцах, которых он знал...»
Агата Кристи, «После похорон»

Воспринимаю «Преступление и наказание» не просто как первую часть *Пятикнижия*. Для меня это произведение фиксирует точку превращения, момент, когда Достоевский осмысляет накопленный и сложно усвоенный в течение многих лет опыт каторги и непосредственно после нее и предпринимает его художественное воплощение в ряде метафизических рассказов. В целях подобного начинания, как нам известно, текст одного романа оказывается крайне недостаточным, но, с другой стороны, именно здесь заложены те экзистенциальные парадигмы, чьи вариации наблюдаем вплоть до самого конца текста-Достоевского: «Братья Карамазовы» и так называемая

«Пушкинская речь» – в направлении преодоления / выхода из собственной (авторской) интровертности. Практически модус «преступление-и-наказание» присутствует во всех поздних произведениях писателя и предзадает специфический, распознаваемый профиль интересующей его проблематики. Разница в том, что среди остальных четырех заглавий фраза, выбранная в качестве заглавия одноименного произведения, звучит странно, антификционально, даже номенклатурно – она метатекстовая, «научно-практическая», синоним самой юриспруденции²⁸ и провоцирует многолетние литературоведческие дебаты, спекулирующие относительно высокого / низкого жанрового режима сюжета. Но и не только. Именно в этом виде заглавие прямым образом референтно и обосновывает не только деяние Раскольникова, но и появление вроде бы самого логического, а, в сущности, уникального и неповторенного персонажа Достоевского – следователя Порфирия Петровича. Далее в изложении я остановлюсь на нем, точнее, попытаюсь не столько объяснить его присутствие, сколько подчеркнуть, чем он меня заинтриговал на фоне остальных героев.

Порфирию Петровичу в достоевистике посвящено немного и не совсем подробных исследований. Среди скудных самостоятельных опытов выявлю два: статья Риты Поддубной «Образ Порфирия Петровича в художественной структуре романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (Поддубная 1971), и статья Терезы Миджиферджян: «Раскольников – Свидригайлов – Порфирий Петрович: поединок сознания» (Миджиферджян 1987). О герое говорится и в отдельных монографических работах, анализирующих роман «Преступление и наказание», как в классически утвердившихся работах Юрия Карякина, Валерия Кирпотина, Георгия Фридлендера и др. А сегодня, благодаря «услужливости» Википедии и других интернет сайтов, располагаем специальными статьями, описывающими персонажа. Правда о нем, однако, не в описании, а в аналитическом проникновении за его внешнее поведение. Выгляда «праволинейным» и «ясным», Порфирий на самом деле среди самых трудных для толкования протагонистов. Мой конкретный интерес продиктован главным образом фактом, что именно присутствие наделенного властью в следственном процессе лица в романе поддерживает не ожидание наказания (неизбежного и справедливого), а главным образом – *сюжет преступления*: его раскрытие, понимаемое в перспективе криминала – жанра, укоренившегося в русской ментальности и литературе гораздо глубже, чем обычно считается. В отношении к Раскольникову, Порфирий совмещает актантные позиции с разных дискурсных уровней: Антагониста – Провокатора – Насмешника, но одновременно Помощника – Силы, которая «все добро творит»²⁹. Он – зловещий доброжелатель. Он впечатляет своей способностью внушить Раскольникову определенные мысли не как злой гений, а с помощью эротика проникновения и принципов того, что позже будет названо психодрамой. На фоне традиционных гипотез о роли следователя, в данном случае меня волнует вопрос, насколько рискованно введение подобного героя: перешагивает ли он на поле резонерства, и удастся ли повествующему предохранить себя от «тенденциозности» по отношению к нему.

²⁸ Она гораздо более различна, чем идентичные сочинительные словосочетания-номинации в русской литературе XIX века, как «Война и мир», «Моцарт и Сальери», «Володя большой и Володя маленький», но зато далеко более ассоциативной с «Униженными и оскорбленными» например.

²⁹ «Часть силы той, что без числа / Творит добро»; Гете, И. В. «Фауст», пер. Б. Пастернака.

Рассматриваю его не просто как проекцию Раскольникова, а как самостоятельную и более высшую фигуру. И все же: ставит ли Достоевский самому себе ловушку с образом Порфирия?

Но перед тем как анализировать скрытые и особо важные стороны его психологии и ходов, первоначально припомню то, что мы уже знаем, точнее, что текст романа рассказывает о нем. А это – ряд кажущихся парадоксов. Сознательно пропускаю сомнительные и спекулятивные акценты, как семантика его имени, связывающегося с парадигмой православной символики. Проблема интересует меня в несколько ином аспекте: во всем произведении Порфирий – единственный герой без фамилии, называемый фамильярно. Он институционализирован через свою должность (служебное лицо), но действует неофициально, даже интимно – только лишь своим собственным именем и отчеством. Не знаю, в какой степени можно заподозрить некую его «незаконченность» или, еще более точно, «неполноценность», так как сэкономленную ему в нарративе фамилию можно предположить как житейски «наличную». Но в фикциональном мире, куда он попадает, он сильно ограничивает историю единственно в параметрах своей собственной компетентности и целей, дефинированных через право, то есть, Порфирий вводит сюжет криминала (детектива) в большой метафорический сюжет «преступления-и-наказания». Иными словами, он буквализирует и снимает метафизические наслаивания с модуса, заложенного в паратексте. Хотя В. В. Набоков провокативно определяет как «типичный детектив, лихо закрученный уголовный роман» (Набоков 1999: 211) с некоторыми непростительными промахами в построении фабулы (Долинин: 2001) «Братьев Карамазовых», я считаю, что Достоевский первоначально пробует подобную модель именно в первом тексте *Пятикнижия*. Благодаря этой особенности – вспомогательному встраиванию криминала (детектива) в сакральную историю «падшего и переродившегося человека» – роман «снимает» возрастную аудиторию своих читателей, хотя в таком произведении как «Бесы» это не происходит.

Но вернемся к Порфирию Петровичу.

Герой упоминается впервые в 4 главе II части романа, когда в своем разговоре с Зосимовым, на котором присутствует и Раскольников, Разумихин вдруг сообщает: «Порфирий Петрович придет: здешний пристав следственных дел... правовед» (Достоевский 1973, VI: 104). Иначе говоря, появление следователя подготовлено персонажем, знающим его раньше (как его дальнего родственника), и в этом смысле он введен через экспозицию. Оно, хотя и не совсем подробно и в общем негативно или, точнее, нейтрально, все же заставляет нас (нас, читателей, но главным образом – Раскольникова) предварительно «соображать». Во всем повествовании он упомянут около 200 раз, а его портретная характеристика разбросана, и различные подробности узнаем от него самого. Самый сконцентрированный пассаж находим в главе 5 III части романа, при первой из трех его встреч с Раскольниковым: «Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз,

с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать» (Достоевский 1973, VI: 192). (Я не хотел бы «толкать» свои рассуждения к сверхинтерпретации, но, исключая возраст, неправильную, почти яйцевидную форму головы, описание не может не напомнить нам силуэт другого знаменитого детектива в мировой литературе – Эркюля Пуаро. Порфирий Петрович – почти Пуаро, но без усов, или, точнее, если соблюсти хронологию, Пуаро – почти Порфирий Петрович, но с усами.) Иначе говоря, это человек без биографии, его поведение не связано с остальными персонажами и не оказывает влияние на их взаимоотношения. Хотя он и следователь, но мы ни разу не видим его на участке, где было совершено преступление – то есть, чтобы он исследовал или расследовал на месте подробности убийства. Тем более – он ни в один момент не проявляет интереса к жертвам, не спрашивает о них, и едва в последнем своем разговоре с Раскольниковым мимоходом упоминает ростовщицу. Косвенно однако понимаем, что он осматривал место преступления и знает в деталях обстановку и обстоятельства, в которых оно было совершено. Узнаем и другие вещи.

Перед тем как узнать о них, я хотел бы поделиться, почему его присутствие как естественно, так и необычайно. Если криминальный роман (детектив) предполагает загадку, введенную в самом начале как завязку, и на протяжении всего действия она постепенно раскрывается так, чтобы в конце именно детектив ее распутал, в своем романе Достоевский предпринимает осуществление инвариантного сюжета в обратной перспективе: читатель – свидетель преступления, и еще этим жестом повествование «разоружает» ожидания, снимает неизвестности, даже в некотором смысле настраивает на обратное: чтобы симпатичный убийца «вышел сухим из воды», чтобы его не изобличили и, соответственно, наказали. Я имею ввиду, конечно, примитивный уровень рецепции. Но так или иначе, эта перевернутая схема с точки зрения криминального жанра обесмысливает присутствие следователя. Даже после его появления загадка, связанная с преступлением, остается преимущественно для него самого. Для читателя необходимость в расследовании давно отпала, интерес согласно конвенциям детектива – нулевой. Однако неожиданно фигура следователя не только функционирует полноценно до самого конца романа, но Достоевский придает ей особую плотность и очарование. (В указанном Набоковым как пример детектива романе «Братья Карамазовы», например, подобный субъект полностью отсутствует.) Тогда что требует подобного решения? С одной стороны, Порфирий в максимальной степени «схематизирован» – он освобожден от всяких биографических «отягощений», которые могли бы его скомпрометировать или связать с кем-нибудь (его родственная связь с Разумихиным формальна и упомянута «мимоходом»). В метатекстах выражались мнения об относительной или более контаминативной близости между автором и ним. Тереза Миджиферджян в упомянутой статье открыто утверждает: «Порфирий живет не в затхлом пространстве общепринятых канонов, его образ гораздо сложнее. Пожалуй, из всех субъектов авторского восприятия он наиболее приближен к автору» (Миджиферджян 1987: 76). Еще более категорически как будто звучит наблюдение Я. Зунделовича, процитированное Ритой Поддубной о «границах использования

Достоевским образа Порфирия как *своего «заместителя»* (Поддубная 1971: 55). И снова Миджиферджян: «Порфирий Петрович [...] *можно назвать персонажем, исполняющим функцию резонера»* (1987: 75, курсив везде мой, Л. Д.).

В какой степени только что процитированное верно, и что заставляет автора прибегнуть к «услуге» подобного персонажа с мыслью, что он необходим для истории? Строго говоря, Порфирий единственный персонаж, у которого нет никаких проблем с собой – в этом отношении он превосходит даже самого Достоевского – и «модерирует» полностью казус разоблачения. По презумпции он самый яркий антагонист главного действующего лица, периодически оказывающийся в позиции протагониста. Без него мы объяснили бы себе Раскольникову скорее всего субъективно. Этим героем автор корректирует и объективирует свой рассказ. В сущности, во время своего восьмимесячного пребывания в Петропавловской крепости и последующего суда над петрашевцами, закончившегося приговором, Достоевский неоднократно сталкивается с типом расследующего, допрашивающего, суггестирующего определенные презумпции вины высшего государственного чиновника и хорошо узнает его. Смею утверждать, что в лице Порфирия писатель воспроизводит-выталкивает свои страхи, кошмары, но и свое восхищение: он становится романистом (в известной степени формирует свое позднее мировоззренческое видение о литературе) благодаря именно этому респектирующему (и репрессивному) социопсихологическому типу, которого имеет возможность долгое время наблюдать и изучать как поведение и логику с позиции уличенного, несправедливо обвиненного, подозреваемого, со стороны Раскольникова. Достоевский безошибочно улавливает драматургию допроса: процесс, весьма услужливый в отношении любой художественной интриги. Следовательно, так же как и писатель, ведет и направляет действие, конструирует сюжет: он не наказывает, а ищет доказательств – приговоры выносит судья, приводит в действие – палач. Оба последних – фигуры маргинальные в сознании автора *Пятикнижия*. Подобный тезис возможен благодаря факту, что и творческий, и преступный акты имеют иррациональное естество, они – элементы виртуального осмысления себя. Но первый из них – воздвигающий, а второй – деструктивный. Детективный жанр во многом компенсаторен. Он «обеспечивает» поэтику тайны, неудовлетворенности в попытке (само)анализа. В отличие от любовной парадигмы, рассчитывающей на чувства, детектив скорее всего триумф разума, и его конвенциональный сюжет напоминает о процессуальной логике психоаналитического сеанса: он задает проблематичное ядро в сознании реципиента, нажимает на него до нетерпимости (нередко раскрываем последние страницы, чтобы заранее узнать развязку), после чего освобождает напряженно вовлеченное в сюжет сознание, освобождает его от «психотравмы». В России криминальный роман понимается как нечто близкое, более усвоенное, обеспечившее себе традицию в вопросительных заглавиях, поддерживающих суть бытия как тайну, нуждающуюся в выяснении, например: «Кто виноват?», вышедший за два десятилетия до «Преступления и наказания». В подобной перспективе Достоевский прямым образом прогнозирует Фрейда, нащупывая «дофрейдовые комплексы», по выражению Набокова. Если могу себе позволить подобный каламбур, то рациональный человек – *Russianal Man*, а влюбленный, то есть иррациональный – *IrRussianal Man*.

Как конкретно действует Порфирий?

Ряд литературоведческих работ объединяются вокруг тезиса, что следователь прижимает Раскольникова, руководствуясь единственно своими подозрениями, не имея неоспоримых улик, но коварством и ловкостью опытного манипулятора / «инквизитора». Набоков находит определенную типологию в этом подходе; он утверждает, что полюбившийся Достоевскому конфликт в принципе «поставить героя в унижительное положение и извлечь из него максимум сострадания» Набоков 1999: 177). Более умеренно пытается объяснить конкретную ситуацию романа Рита Поддубная. По ее мнению, «подчеркнута способность Порфирия не только понять принципы чуждой ему системы мышления, но и «принять» их, чтобы воспроизвести для себя миропонимание и поступки людей, для которых такая система ограничена. Эта способность качественно отличает Порфирия от его коллег с нормативным мышлением» (Поддубная 1971: 51). В сущности, за рамки более убедительной или более относительной обоснованности подобных мнений остается факт, зафиксированный черным по белому и обнаруженный самим Порфирием: *статья Раскольникова*. Именно она является единственным, но в то же время неизменным аргументом следователя. Начальный толчок, привлекший его внимание, сформулирован им так: «Статьку вашу я прочел, да и отложил, и... как отложил ее тогда, да и подумал: «Ну, с этим человеком так не пройдет!». И дополняет: «Ну, так как же, скажите теперь, после такого предыдущего не увлечься было последующим!» (Достоевский 1973 VI: 345). Порфирий – идеальный читатель написанного Раскольниковым, и хотя сам текст публикации нам не представлен, основная мысль и выдвинутая псевдогуманная идеологема «пролить кровь по совести» в чрезвычайной ситуации, выяснена сравнительно полноценно. Суждение следователя – центральная перипетия в романе. Даже более того: если можно говорить о специфическом *сюжете Порфирия Петровича*, то он – в толковании статьи Раскольникова. Здесь правоведа раскрывается не только как психолог, даже не только как текстолог, а в некотором смысле и как «графолог»: ему удается прочесть *внутренний почерк*, раскрывающий психопрофиль преступника, и именно это превращает не закончившего своего образования студента в «оперативно интересного объекта» для него³⁰. Рассматривая «О преступлении» как «заявление» о предначертанном, но все еще не совершенном убийстве, Порфирий предугадывает ходы Раскольникова, как и тот, что он сам себя выдаст. Таким образом следователь практически «режиссирует» раскрытие злодеяния гораздо более искусно, чем заподозренный «режиссирует» сам криминальный акт: «Мне все эти ощущения знакомы, и статью вашу я прочел как знакомую» (Достоевский 1973 VI: 345). Последнее предложение – особо важный момент в подходе любого детектива. Основываясь на своем опыте, расследующий первоначально рассматривает очередной казус, перед которым оказывается, – все равно с реальной или потенциальной жертвой, – как нечто знакомое, из которого он исходит. Припоминая статью, Порфирий «восстанавливает» виртуальный алгоритм преступления и вырабатывает стратегию доказательства своих предположений, в правильности которых он почти убежден. И точно как в психоаналитическом сеансе предпринимает самую важную и самую эффективную задачу – заставить „пациента»

³⁰ Чтобы провоцировать эффективно Раскольникова, Порфирий «входит в него самого», что некоторым исследователям кажется, как будто он сам нуждался в убийстве, чтобы вырвать из своего оппонента признание с помощью «дофрейдовых методов».

самого подтвердить истинность гипотезы. Помогает ему нечто, на первый взгляд необычайное: особое состояние Раскольникова, граничащее с полутрансом. Разумихин подает своеобразный «джокер» репликой: «Ну, веришь, Порфирий, сам едва на ногах, а чуть только мы, я да Зосимов, вчера отвернулись – оделся и удрал потихоньку и куролесил где-то чуть не до полночи, и это в совершеннейшем, я тебе скажу, бреду, можешь ты это представить! Замечательнейший случай!» (Достоевский 1973 VI: 194). «Бред» – психосоматический симптом, приводящий к галлюцинированию – то же самое, что следователь уже допустил и произнес перед заподозренным: „акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью» (Достоевский 1973 VI: 198). Именно в таком состоянии Раскольников «как по учебнику» возвращается на место преступления. Соотносимость писания и убийства как акты иррационального характера позволяют Порфирию разрешить загадку казуса через «дофрейдовую» эротику проникновения.

Реальность «возвращается» в сознание преступника и детектива, так как существует необходимость, чтобы уже разгаданный и подтвержденный случай нашел решение.

Вторая их встреча (5 глава IV части) – в кабинете Порфирия. После первой, более или менее «интимной», вторая категорически институционализируется. В новой ситуации в лице «сыщика» уже совсем официально начинают функционировать закон, право, государство. Парадокс в том, что в обоих случаях действие происходит на территории Порфирия, несмотря на то, что домашняя обстановка заменена служебной. Интересно и другое. То, что Раскольников все время восстанавливает в своем сознании между их предыдущей встречей и настоящей, предвиденное и в большей степени спровоцированное (внушеное) следователем, – это не убийство, а сам ход их встречи: в чем он проявил слабость, несообразительность, как будто едва тогда он провинился. Толкуя эту сцену, Георгий Фридендер рассматривает Порфирия как проявившийся и персонифицированный страх Раскольникова, с которым главный герой разговаривает наедине, то есть – сам с собой. Привожу это известное мнение, так как даже если решить, что в первом романе *Пятикнижия* оно чрезмерно и звучит преувеличенно, дальнейшее появление персонажных пар типа Ивана Карамазова – Дьявола оправдывает подобную идею. Поддубная, со своей стороны, считает как раз наоборот: что в новом разговоре между обоими они четко разграничены – чиновник проявляет „внутреннюю бесчеловечность», в ответ на которую лицо его оппонента становится все более „тихим“ и грустным (Поддубная 1971: 54). Разумеется, чью бы позицию мы не выбрали в контексте художественного повествования, в профессиональном смысле никто не мог бы потребовать «внутренней человечности» от расследующего убийство детектива. Достоевский не рассказывает сентиментальную историю, ведущую к «диалектическому совпадению противоположностей», точнее, к тому, чтобы палач и жертва полюбили друг друга. Несмотря на это, Порфирий получит свой шанс проявить субъективное отношение к убийце, но это не произойдет согласно ожиданиям массового вкуса.

В этом смысле особо важна третья встреча обоих (2 глава VI части). Она спроектирована как инверсия предыдущих. Имею в виду не только факт, что на этот раз Порфирий приходит к Раскольникову, а и то, что их последняя встреча – единственная, которая наедине, tête-à-tête. Подобная презумпция предопределяет, что

разговор пойдет по другим правилам, гораздо более непосредственно, откровенно, без камуфляжного блефа в отношении к остальным присутствующим. Здесь механизм преступления окончательно раскрыт. Рассказом Порфирия «детектив» («криминал») в романе кончается. Герой выполнил свой «должностной ангажемент» к сюжету и уже может выйти из кожи следователя и проявить так ожидаемый сентиментально настроенным читателем субъективизм.

«Рекапитуляция» следующая. Своим деянием бывший студент-юрист разрушает модель своей собственной жизни и переориентирует его неясно куда (он проваливается как идеолог, но реализуется как убийца). Своим появлением / вмешательством Порфирий пытается регулировать экзистенциальную проблему Раскольникова как социальную, навязать ему моральные поведенческие нормы. Он не только расследует его, но и следит за ним еще до «грехопадения», стремясь косвенно внушить ему, что замах топором был тот рецидив в его бытии, через который провинившийся отправился от неведения-в отношении-к-себе к поиску-и-нахождению самого себя. Иначе говоря, искушая его сделать самопризнание, Порфирий – человек, который смеется – привлекает несбывшегося Наполеона к его собственному «Страшному суду» и стимулирует очищение кармы и его (под)сознание. Мысль о том, что Раскольников может посягнуть на свою жизнь, является категорическим доказательством тому, что «доброжелатель» думает о нем как об автономном существе с так или иначе непредсказуемыми реакциями. Готовя различный финал своему герою, Достоевский все же отказывается толкнуть его на подобный шаг, но в романе пробует убедительность и эффективность допущенного Порфирием решения через образ Свидригайлова, а в «Бесах» в гораздо более зловещем виде – через образ Кириллова³¹.

Неоспорим факт, что именно следователь подсказывает Раскольникову Бога как возможного выхода. Этим он категорически превозмогает созданное до этого момента представление о себе как о человеке, остраненном и незаинтересованном личной историей убийцы, даже ироничном и издевательствующем по отношению к нему. В таком акте можем усмотреть своеобразное метафизическое, преодолевающее границы формального следственного процесса, толкование приведенной Толстым максимы «Мне отмщение и аз воздам» относительно человеческой участи, тем более при взятом на себя обязательстве выхлопотать минимальный приговор (что и происходит: из двадцати возможных Раскольников получает восемь лет каторги). С выходом Порфирия из действия роман продолжает в иное, резко субъективное направление, но не более различающееся от допущенного им. Наверное в этот момент исчезнувший с поля нашего зрения детектив, как и Пуаро в процитированном в начале эпиграфе, задумывается об убийцах, которых он знал.

³¹ С другой стороны, осмысление самоубийства представляет собой длительный процесс в казуистике Достоевского, «соизмеряющийся» со своими великими предшественниками: в «Юноше» в качестве «аргумента» для его преодоления задействован пушкинский «Скупой рыцарь», заканчивающий отцеубийством; в «Братьях Карамазовых» отцеубийство действительно осуществляется, но сам совершитель повесился.

REFERENCES

- Долинин, А. (2001). Набоков, Достоевский и достоевщина. *Старое литературное обозрение*, № 1 (277). Recuperado de: <http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/dol-pr.html>
- Достоевский, Ф. М. (1973). Преступление и наказание. *Полное собрание сочинений в тридцати томах*. Том VI. Ленинград, Наука.
- Карякин, Ю. Ф. (1976). *Самообман Раскольникова (Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»)*. Москва. Художественная литература.
- Кирпотин, В. Я. (1970). *Разочарование и крушение Родиона Раскольникова*. Москва. Советский писатель.
- Миждиферджян, Т. В. (1987). Раскольников – Свидригайлов – Порфирий Петрович: пединок сознания. *Достоевский. Материалы и исследования*, сб. VII. Ленинград, 65–81.
- Набоков, В. В. (1999). *Лекции по русской литературе*. Перевод А. Курта. Москва: Независимая газета.
- Поддубная, Р. Н. (1971). Образ Порфирия Петровича в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». *Вопросы русской литературы*, вып. 1/16, Львов, 48–59.
- Фридлиндер, Г. М. (1964). *Реализм Достоевского*. М.–Л.: Наука.